



Lev Gudkov

## "Память" о войне и массовая идентичность россиян

### Предварительные замечания

Ушедший XX век, "век масс" или "век тоталитарных режимов и движений", принципиально изменил постановку вопроса о возможностях понимания прошлого и роли самого прошлого. Если еще на рубеже XIX–XX веков сама идея "понимания" мыслилась главным образом как герменевтическая проблема – как интерпретация одним индивидом письменно зафиксированных текстов другого индивида, то во второй половине XX века, после катастрофических событий двух мировых войн, масштабных социальных трансформаций, массовых репрессий, в проблеме обнаружилось совершенно иные плоскости рассмотрения. Во-первых, резко увеличилось число и многообразие самих источников свидетельств о прошлом, во-вторых, изменился тип социально-культурной репродукции. В домодерные, дототалитарные эпохи задачи постижения и объяснения актов и состояний людей в прошлом решались силами примерно одного культурного слоя или сословия, владеющего "всеми" объемами исторической традиции, а сами средства толкования не выходили за рамки опыта и круга представлений класса людей, соответствующим образом образованных. После 1945 года вопрос о типах, адекватности и границах "понимания" утратил свою прежде неразрывную связь с неповторимо-личностным характером понимания, воспоминания и сопереживания. Во многих работах, начиная с послевоенных экзистенциалистов и кончая уже современными постмодернистами, выдвинут тезис о невоспроизводимости опыта тех, кто "пережил Освенцим", будь то нацистские лагеря уничтожения или сталинский ГУЛАГ. Сам факт травматического молчания или неспособности выживших передать тем, кто не был с ними, или другому поколению все, что они чувствовали и думали, интерпретировался философами или интеллектуалами как свидетельство заурядности, невыразимости, невозможности для человечества "свидетельств" о том, что было с теми, кто оказался в таких ситуациях. Утверждалось, что речь должна идти о полной и принципиальной неадекватности повседневного языка и форм мышления для такого описания и понимания другими. Этическая абсолютизация этого момента невоспроизводимости, герметичности предельных состояний закрывала для анализа другие возможные стороны рассмотрения этой проблемы, например явной неэффективности модели индивидуалистического, персоналистического, непосредственно личного акта понимания как "психического вживания" или "проникновения" в сознание прошедших предельные испытания людей. Сама модель "трагического осознания и понимания" девальвируется тем фактом, что события этого рода касались и захватывали миллионы людей, что смерть или жизнь в условиях будничной смерти тривиализировались, индивидуальность, уникальность

личности обесценивалась, обесмысливалась самим обстоятельством массового обезличенного исчезновения, низведения умирающего "рафинированного" сознания к уровню тех, кто вел в социальном или интеллектуальном плане полурастительное существование. Массовая смерть последних была столь же чудовищно-рутинной и поточно-арифметической, что и смерть высокообразованных индивидов. Банальность массового зла требовала принципиально других средств изучения коллективной или массовой памяти, другой этической или метафизической позиции, которых историки ранее не требовали и требовать не могли. Отсюда встает важнейший вопрос: в какой мере может быть осмыслен, усвоен и передан опыт тех людей, которые пережили трагические катаклизмы этого столетия? Что вообще остается (если остается) в памяти о массовых событиях, захвативших и перевернувших жизнь одновременно массы людей, таких, как войны, революции, репрессии, коллективизация, масштабные трансформации социального порядка и тому подобное?

Совершенно очевидно, что фиксируемая "история" XX века принципиально отличается и от средневековых хроник, и от "Всеобщих историй", которые писались в XIX веке, хотя бы только потому, что, во-первых, изменились, дифференцировались и многократно расширились те группы, которые брали на себя задачу сохранения и воспроизводства "прошлого", а во-вторых, изменилась сама техника удержания и сохранения прошлого – это уже не только архивы, музеи, галереи батальной или исторической живописи, не только многотомные обзоры событий или мемуары и семейные документы высших или образованных сословий. Сегодня здесь на равных с профессиональными историками действуют и архивы кинохроники, и средства массовых коммуникаций, и беллетристика, и школа, и армия, политическая демагогия, национальные ритуалы, символическая и идеологическая топонимика и многое другое. Поэтому, когда в публичных дискуссиях заходит речь об исторической "памяти", сохранившихся воспоминаниях еще живущих людей или их первой передаче другому поколению, а также – воспроизводстве рассказов о рассказах о том, как это "было", необходимо четко осознавать, с каким "прошлым" мы имеем дело, кто его держатель, как оно организовано и структурировано, какими средствами оно выражается. В особенности это относится к таким символическим событиям, как "война" (когда в России или в СССР говорят "война", то имеют в виду только одну войну, "войну" с определенным артиклем: Великую Отечественную войну, как ее называли в СССР и как сегодня ее называют в официальных контекстах в России, или Вторую мировую войну, если при этом учитывается и международный план дискурса).

Кроме того, необходимо проводить принципиальное различие между индивидуальными, частными воспоминаниями о прошедшей войне (соответственно, ясно видеть мотивы, побуждающие людей к приватной передаче пережитого, и особенности самих ситуаций воспоминания) и коллективными – групповыми или институциональными – представлениями о ней. И те, и другие не представляют собой объективации реально происходившего (что – то вроде еще не снятого документального "фильма" о действительных событиях). Работа памяти – это не только процесс селекции событий и их деталей, но и их определенная конструкция (сюжетная или оценочная), производимая в соответствии с явной или латентной схемой их интерпретации. Вопрос о значимости или ценности воспоминаний заключается в том, кто

предлагает эту схему: сам вспоминающий или – что гораздо чаще – его непосредственные или отвлеченные партнеры; кто выступает адресатом воспоминаний. Иначе говоря, для исследователя, тем более социолога культуры, встает задача выявить коммуникативную структуру воспоминаний, или, если быть еще более точным, представить воспоминание как *социальное взаимодействие*, в котором вспоминающий неявно обращается к значимому Другому (даже если этот Другой не более чем обобщенный, диффузный образ "молодого поколения", нравственного "суда истории", "публики", "общества", обладающего лишь одним социально-антропологическим качеством – это проекция рассказчика, но существующего в модусе идеального понимания, то есть слушателя, знающего "концы и начала").

Процесс "вспоминания" – это всегда интерпретации, выстраиваемые в более или менее явной полемике, дополнениях или иллюстрациях общепринятых риторических изложений содержания или смысла соответствующих событий. Для социолога как методологически, так и содержательно очень важно отметить признаки этой схемы, ориентацию на нее у разных акторов в качестве коллективной или институциональной нормы "истории", "исторического события". Без этого, без раскрытия семантики значимости этой схемы невозможен переход к пониманию памяти как социального взаимодействия. Если индивидуальные воспоминания выстраиваются как цепочки биографических или семейных обстоятельств, то они привязаны к плану частной истории с ее ключевыми ценностями и масштабами оценок. Коллективные же представления конструируются некоторыми ценностями всего сообщества и воспроизводятся другими средствами, нежели рассказы частных лиц. Как правило, они лишены следов своего происхождения, производства, воспринимаясь как сами собой разумеющиеся мнения, возникшие "неизвестно когда", поскольку массовое или корпоративное сознание не просто не озабочено проблематикой генезиса этих представлений, а, напротив, всячески защищает от возможной их рационализации, вытесняет следы их идеологического производства, табуирует их священный статус в качестве символов коллективной идентичности. Поэтому коллективные представления нельзя рассматривать как сумму индивидуальных воспоминаний и конкретных деталей происшедшего, это всегда совершенно иначе выстроенные "реконструкции" исторических процессов и событий, функция которых связана либо с ритуалами коллективной (национальной, групповой) солидарности, либо с изложением коллективных мифов, идеологием, предназначенных легитимировать те или иные социальные институты или политические действия. Поэтому социолог, исследующий массовую "память", вынужден, вслед за Морисом Хальбваксом, постоянно спрашивать себя и других: какой институт, какая группа или социальная среда удерживает в своей памяти это "прошлое", каким образом оно удерживается (воспроизводится), какие при этом используются образно-символические и технические средства? Или, иначе говоря, каковы "социальные рамки коллективной памяти"?

В данной статье рассматривается характер коллективной "памяти о войне" или роль представлений о войне в системе национальной идентичности нынешних россиян<sup>1</sup>.

## Двоемыслие и память

Первое, что приходится отметить, – это то, что массовое, то есть неспециализированное, "общее" или "низовое" сознание лишено "памяти". Общественное мнение не удерживает опыт отдельных людей, он не сохраняется, не передается, не откладывается. Все пережитое частным человеком, прежде всего – нерелексивное страдание, уходит в никуда, если только оно не подверглось институциональной или специализированной проработке, если оно не пущено на другие каналы культурного воспроизводства, соответственно, если частные мнения не санкционированы какой-то инстанцией, имеющей ранг надиндивидуального образования. Поэтому сегодня мы можем говорить не столько о памяти, сколько о воспроизводстве "памяти": людей, которые пережили войну, сегодня осталось не более 6–7%, это главным образом пожилые и малообразованные женщины, у которых в массе своей нет ни средств, ни возможностей, а главное – нет мотивов, стремления к передаче подобного опыта.

Массовое отношение к войне практически не отличается от восприятия ее как традиционно стихийных, почти библейских бедствий – глада, мора, потопов или землетрясений, причины которых были малопонятны, а последствия – ужасны<sup>2</sup>. В таких аморфных и крайне неопределенных категориях, удерживающих лишь самое общее ценностное отношение к произошедшему, к тем уже далеким годам, сохраняется необработанный и неосмысленный массовый опыт войны. Люди считают "отечественную войну" (если исходить из частоты различных определений той войны, даваемых респондентами в наших опросах) прежде всего "великой", затем – "кровавой", "трагической", "ужасной", гораздо реже ее называют "героической", "долгой" и еще реже? "подлой".

Практически выпал, вытеснен из коллективной памяти (массового сознания) пласт переживаний будничной, беспросветной войны и послевоенного существования, подневольной работы, хронического голода и нищеты, принудительной скученности жизни<sup>3</sup>. Они рассеялись так же, как память об искалеченных инвалидах (или, как их называли в послевоенное время, – "самоварах", человеческих обрубках на колесиках, бывших непременным атрибутом уличной суеты еще в первой половине 1950–х годов). Эта жизнь оказалась тягостной и ненужной, как лишними были инвалиды в послевоенной жизни, брошенные на "произвол судьбы" (их стеснялись, от них отворачивались, с неприятным чувством вины и "безобразия жизни", их прятали, чтобы, не дай бог, они не попали в парадные официальные картинки мирной жизни). От всего этого в общественной памяти остался лишь подсознательный страх, часто выражающийся как страх новой войны, мировой или гражданской, определивший собой дальний горизонт массовых оценок качества жизни, вялое сопротивление попыткам героизации всего, что выходит за рамки военной тематики, пассивность терпения – короче, все то, что в советское время выливалось в привычный вздох: "лишь бы не было войны". Но в качестве "коллективного бессознательного" эти компоненты массового сознания никуда уже не исчезают, хотя их значимость постепенно снижается.

Но как раз по отношению к этому диффузному состоянию памяти полным контрастом является предельно структурированное социальное отношение к войне, воплощенное и закрепленное в главном символе, интегрирующем нацию: Победе в войне, победе в Великой Отечественной войне. Это самое значительное событие в истории России, как считают ее жители, опорный образ национального сознания. Ни одно

из других событий с этим не может быть сопоставлено. В списке важнейших событий, которые определили судьбу страны в XX веке, победу в ВОВ в среднем называли 78% опрошенных. Причем значимость Победы за последние годы, особенно с приходом Путина, только выросла. Если в 1996 году на вопрос: "Что у вас лично вызывает наибольшую гордость в нашей истории?" – так отвечали 44% опрошенных (самая большая группа ответов), то в 2003 году таких было уже 87%. Больше сегодня гордиться нечем – распад СССР и неудача реформ в постсоветское время, заметное ослабление массовых надежд и исчезновение перестроечных иллюзий стали содержанием травматического опыта национальной несостоятельности. Идет взаимосвязанный процесс: по мере эрозии и ослабления прежних предметов гордости советских людей ? революции, строительства нового общества, становления "нового человека", показательных достижений советской индустриализации, военной мощи сверхдержавы и связанных с ней науки и техники<sup>4</sup> – растет символический вес Победы. На ее фоне быстро девальвируется как имперское культурное наследие (включая и "святую" русскую литературу), так и идеологические символы социализма (сохраняющиеся сегодня лишь у старших поколений в виде ностальгии по идеализированному прошлому). Эрозия захватывает все составляющие позитивного коллективного единства "мы".

Актуализировав все комплексы ущемленности и неполноценности девальвацией, Победа торчит сегодня как каменный столб в пустыне, оставшийся после выветривания скалы. Она стягивает к себе все важнейшие линии интерпретаций настоящего, задает им масштаб оценок и риторические средства выражения. Напомню лишь о нескольких вещах. Самая недавняя телевизионная картинка: плакаты на казенном митинге солидарности с Путиным (проходившем на Васильевском спуске Красной площади после Беслана): "Выстояли в 1945–м, выстоим и теперь"<sup>5</sup>. Несколько более давние кадры – 1996 год: федеральные войска с огромным трудом взяли дудаевский дворец (бывшее здание обкома в Грозном), над ним развевается флаг России (аллюзия на знамя Победы над рейхстагом в 1945 году). Можно также сослаться на кажущиеся анекдотическими гневные рассуждения Жириновского о мотивах неправильного судейства на зимней олимпиаде в Солт–Лейк–Сити (допинговый скандал 2002 года) – "это месть России за победу в Отечественной войне"<sup>6</sup> и тому подобное. Но шутовство Жириновского, как всегда, абсолютно точно отмечает болевые точки массового сознания – остаточные радикалы закрытого, параноидального мобилизационного милитаристского общества, в котором власть поддерживает ненависть своих граждан к внутренним и внешним врагам, культивирует образ врага и страх перед ним, делающие необходимой саму власть<sup>7</sup>.

В первые послевоенные годы (конец 1940–х – начало 1950–х) еще наблюдался резкий разрыв между некодифицированным массовым, слишком свежим непосредственным и личным опытом войны, военного времени в целом (в котором было так мало картинно–героического – на первом плане была повседневная жизнь, голод, эвакуация, военная "работа") и официально–парадной, мобилизационной версией военных событий<sup>8</sup>. Но спустя уже 15 лет – с начавшимся замещением социальных позиций невоевавшим поколением (рождения конца 1920–х – начала 1930–х годов) – стал заметным интенсивный процесс матрицирования массовых представлений о войне. Отмеченный началом официального, демонстративного почитания "ветеранов", появлением "лирической" тональности в описаниях войны (в первую очередь, в воспоминаниях) и различных государственных ритуалах, этот процесс соединял

стереотипизацию коллективного опыта (выработку "обобщающих" клише и речевых формул, нормативно принятого, "высокого", официального языка коллективных высказываний о военных событиях, подхваченного публицистикой и закрепленного в поэтике официальной истории, масскоммуникативной риторике, массовой культуры) с соответствующими государственно-историческими понятиями о державной истории, национальной культуре, моральными оценками частной жизни и представлениями о пределах ее автономности<sup>9</sup>. Разгружая их от аффективной радикальности фронтового восприятия, послевоенные интерпретаторы тем самым рутинизировали военный опыт, ввели его в общий горизонт представлений закрытого, военно-бюрократического общества. Именно в эти годы начинают выходить тома официальной многотомной "Истории Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945" (первый том – в 1960 году), появляются мемуары советских маршалов<sup>10</sup>, быстро превращающиеся в предмет острого читательского дефицита (вплоть до 1980-х годов). Именно эти процессы стереотипизации дали огромному числу людей свой язык "высоких коллективных чувств", язык лирической государственности, который намертво закрепился впоследствии, уже к середине 1970-х годов, и на котором только и могут сегодня говорить о войне большинство россиян.

Отношение большей части нынешних жителей России к войне обусловлено всем характером советской культуры: оно – продукт пропаганды, функционирования СМК, школьного образования, общегосударственных ритуалов, огосударствленного искусства, прежде всего – кино и литературы, но также и тиражируемой в иллюстрируемых тонких журналах изопродукции членов Союза художников, транслируемых по радио военных песен и прочего. Это означает, что представления, переживания, знания целого поколения были идеологически обработаны и упакованы профессиональными интерпретаторами (партийными работниками, литераторами, режиссерами, редакторами, историками, комментаторами), риторически оформлены, и только затем соответствующие конфигурации значений, получившие официальную санкцию авторитетных органов, приобрели статус самой реальности, "общезначимости", "безусловности", подчиняющей личный опыт отдельных людей. Сами по себе гибель людей в таких масштабах, которые не могли быть охвачены отдельным индивидуальным восприятием, разрушение социальных связей, самого уклада повседневной жизни, как это было во время войны, "автоматически" не становятся фактором, меняющим структуру массового сознания. Как и любой иной, этот "частный", индивидуальный опыт – опыт людей на войне и во время войны, даже пусть их огромное множества, не будучи специально обработанным, не воспроизводится и не составляет культурного или социального факта. Только получив соответствующее институциональное оформление и закрепление, став технически репродуцируемым, будучи вписанным или хотя бы соотнесенным с коллективными рамками событий прошлого и настоящего, опыт военного времени становится исторической "памятью" общества или отдельных групп и участников войны. Без этих механизмов (и направленной политики СМИ) специального поддержания и организации "памяти", ритуалов и инсценировок, разыгрывания военной тематики прошлое, даже столь значимое, быстро рассыпается и исчезает. Именно поэтому даже сегодня военная тематика (события Второй мировой войны), представленная в старых советских фильмах, ежедневно демонстрирующихся по основным каналам ТВ, или специальных



передачах, посвященных войне и армии, составляет 6–8% всего эфирного времени. Ее объем резко увеличивается в периоды юбилейных мемориальных мероприятий, связанных с теми или иными памятными датами войны – боями под Москвой, Сталинградской битвой, освобождением Ленинграда, Курской битвой, майскими праздниками и тому подобным.

### Война как символ

Таким образом, всякий раз, когда упоминается "Победа", речь идет о символе, который выступает для подавляющего большинства опрошенных, для общества в целом, важнейшим элементом коллективной идентификации, точкой отсчета, мериллом, задающим определенную оптику оценки прошедшего и отчасти – понимания настоящего и будущего. Победа 1945 года – не просто центральный смысловой узел советской истории, начавшейся Октябрьской революцией и завершённой распадом СССР; фактически это единственная позитивная опорная точка национального самосознания постсоветского общества. Победа не только венчает, но как бы очищает и оправдывает войну, одновременно "закрывая" от рационализации ее негативную, обратную сторону, табуируя тему войны, а вместе с ней закрывая и саму возможность объяснения причин и хода войны, анализа действий руководства, природы государственного режима, подчинившего подготовке к войне все сферы общественного существования. Триумф победителей маскирует двусмысленность самого символа. Победа в войне легитимирует советский тоталитарный режим в целом, бесконтрольную власть как таковую, задним числом, ретроспективно оправдывая "издержки" советской истории, форсированной военно-промышленной модернизации – репрессии, голод, нищету, массовую гибель людей после коллективизации, создавая безальтернативную версию прошлого, единственно возможные и значимые рамки интерпретации истории. Поэтому никакой другой связной и систематически выработанной версии истории, а соответственно, воспроизводимой всеми социализационными институтами, сегодня нет. Сегодня нет той элиты, которая могла бы предложить другую, столь же систематическую точку зрения на события войны, вообще – другие оценки, другие моральные позиции в отношении прошлого.

Не случайно по мере роста символической силы Победы в войне восстанавливается авторитет товарища Сталина (и как главнокомандующего в этой войне, и как вождя народа). Сталин не просто возвращается, меняется (в сравнении с перестроечным временем) характер его роли. Чем выше статус событий "войны", телеологически организованных как цепочки событий, ведущих к предзаданной Победе, тем сильнее уходит память о сталинских репрессиях (значимость их для российской истории за последние 12 лет, по мнению опрошенных, упала с 29% до менее 1%; напротив, позитивные оценки роли Сталина с 1998 года к 2003 году выросли с 19% до 53%; на вопрос: "Если бы Сталин был жив и избирался на пост президента России, вы проголосовали бы за него или нет?" – 26–27% жителей России сегодня ответили: да, проголосовали бы)<sup>11</sup>.

День Победы не стал днем поминовения, печальной памяти о погибших, человеческих страданиях и материальных разрушениях. Это именно день победы, торжества советской армии над гитлеровской Германией. При

этом интенциональный смысл победы у россиян обращен исключительно к себе, он значим лишь в структурах российского самоопределения. Сегодня практически не осталось тех, кто испытывал бы ненависть к тем странами, которые были врагами: Германии или тем более – Италии, Японии, Румынии. Негативизм этого рода сохранялся еще не так давно только в старших поколениях, на периферии общества. Сегодня антиамериканские настроения выражены гораздо сильнее, чем, например, антигерманские, которые характерны для 8–10% населения (главным образом – пожилых людей). Половина россиян готова даже на то, чтобы поставить в стране памятник павшим с обеих сторон во Второй мировой войне (хотя опять–таки эта готовность в годы путинского правления несколько ослабла, снизившись с 57% до 50%, напротив, отрицательное отношение к подобной идее лишь усилилось – с 26% в 1991 году до 35% в 2003 году).

Свой триумф россияне не готовы разделять с кем бы то ни было еще в мире. 67% респондентов (2003 год) полагают, что СССР мог бы победить в этой войне и без помощи союзников. Более того, по мере роста собственно русского национализма и временного отдаления от тех лет война постепенно стала укладываться в традиционные рамки русского "миссионерства" и "соперничества с Западом". Параллели между событиями новейшей и древней истории ("СССР, разгромив фашизм, защитил европейские народы от угрозы уничтожения", как в свое время "Русь, разгромив татаро–монгольские орды, стала щитом для Европы") оказываются общим местом как в националистической риторике позднего советского времени, так и в постсоветское время. Дополнительный тон такому пониманию придает идея, что русские победили противника, перед которым не устоял никто из самых развитых и богатых, благополучных, "цивилизованных" народов Европы.

И одновременно с этим полностью вытеснены из массового сознания ряд неприятных фактов, а именно: 1) агрессивная природа советского режима, коммунистический милитаризм и экспансионизм, ставшие причиной исключения СССР из Лиги Наций после нападения на Финляндию, 2) Вторая мировая война началась совместными действиями против Польши партнеров и (до поры до времени) союзников – гитлеровской Германии и Советского Союза, 3) цена войны, человеческая, социальная, экономическая, метафизическая; 4) ответственность руководства страны за развязывание войны и ее ход, последствия войны для других стран и тому подобное.

### **Война и табу рационализации**

Структурообразующей для коллективной памяти ролью Победу в войне наделила многолетняя работа официальных социальных институтов в СССР ? школы, армии, СМИ, системы пропаганды и идеологического воспитания. По существу, сегодня мы имеем дело с более или менее выраженной сталинской версией войны и всей истории советского времени, а значит – всей истории XX века. Такая интерпретация войны создана сталинским Генштабом и агитпропом ЦК КПСС.

За контроль над интерпретацией войны шла острейшая конкуренция между различными группами идеологов, не прекратившаяся по настоящее время (и сегодня различные политические партии – от партии власти<sup>12</sup> до ее оппонентов – коммунистов, патриотов, популистов и других претендуют на монопольное владение наследием войны, стремясь



протянуть от победы свою собственную линию легитимации). Любые варианты и нюансы изложения, оценки трактовки войны появлялись исключительно внутри самой бюрократии (образованного слоя) в качестве реакции на официальную позицию. Любые ее версии, уже существующие или возможные в будущем, являются лишь их дополнением, критикой, опровержением, пародированием и не могут быть ничем иным. В этом смысле сам факт выработки новой или уточняющей интерпретации, появление оригинальной перспективы рассмотрения войны и победы можно рассматривать как сигнал сбоя или дефекта в механизмах социальной и культурной репродукции советской системы, и напротив, реставрацию базовой версии войны, доминанты национальной истории – как восстановление и консервацию оснований советского режима и советского общества.

Доминантная конструкция войны или интерпретация военных событий представлена в киноэпопее "Освобождение", созданной в брежневское время Юрием Озеровым и Юрием Бондаревым<sup>13</sup>. Все прочие версии носили лишь характер жанровых разработок этой темы – от комедий или авантюрно-приключенческих боевиков до высоких образцов трагедии с характерной для них экзистенциалистской или этической тональностью изложения<sup>14</sup>, выступали в качестве дополнения или аранжировки темы героического самопожертвования, испытания на верность, на подлинность человеческих ценностей и отношений ("Проверка на дорогах" Алексея Германа), но не предлагали никакой иной версии понимания войны, кроме господствующей.

На протяжении долгого времени все, что связано с войной (а мы говорим главным образом об одной Войне, войне с именем собственным – Отечественной), подверглось в СССР сильнейшей сакрализации, блокировавшей любые попытки рационализации прошлого. Любая версия, расходящаяся с версией военно-государственного руководства, любой анализ военных событий и последствий войны, отклоняющийся от общепринятого, долгое время воспринимались (и в значительной степени воспринимаются сегодня) как покушение на святыни, как оскорбление памяти павших, как кощунство по отношению к самым высоким национальным ценностям. В результате вместо моральной, интеллектуальной, политической или какой-то иной работы по рационализации негативного, травматического опыта происходило его "рубцевание". Каждая попытка переоценки войны в целом или отдельных ее моментов подавлялась советскими властями со всей возможной оперативностью и жесткостью. Частный, индивидуальный опыт (и соответственно, значимость его ценностей) загонялся в сферу "коллективного бессознательного", культурно не отмеченного, не рефлексированного. Речь идет не столько о возникновении психологической защиты от необходимости рационализации, сколько о сохранении определенного "курса ценностей" – соотношения частного и тотально-коллективного, государственного (или, словами Булата Окуджавы: "...нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим"). Моральное чувство людей, защищавшихся не просто от агрессии, а от такого врага, который, как считалось и официально утверждалось, вел войну на национальное и этническое уничтожение народов СССР, не просто усиливает торжество победителя. Представление людей о себе как жертве агрессии придало им непоколебимую уверенность в своей правоте и человеческом превосходстве, закрепленном Победой в этой войне. Рутинизацией этой уверенности стало и внеморальное, социально примитивное, архаическое,

почти племенное деление на "наших и ненаших" как основа социальной солидарности, готовность к оправданию (но не поддержке!) любой агрессивной или репрессивной государственной политики в отношении других стран или территорий, противостоящих СССР или России (вторжение в Венгрию и Чехословакию в 1956 и 1968 годах, в Афганистан в 1979 году). В самое последнее время это же можно наблюдать на примерах воинственной риторики в отношении Грузии, стран Балтии и тому подобном (вспомним фильм "Наши" Александра Невзорова и тому подобное). Последствия этого мы можем во множестве случаев наблюдать сегодня в отношении к Чечне, в "Брате", "Брате-2", "Войне" и тому подобной продукции Балабанова и необозримого множества других арт-эпигонов. Право на насилие воспринимается как сила правого. Произвол становится легитимирующим принципом социальности, как это можно видеть и в деле "ЮКОСа" или Гусинского, в событиях вокруг "Норд-Оста" или Беслана. Разумеется, я лишь схематически указываю эту линию развития – деморализацию войны, но она реально существует и в повседневности, и в общественном дискурсе.

### Война как культура

Война стала для России суррогатом "культуры" – смысловым полем, где отыгрываются важнейшие темы и сюжеты современности. Речь идет о том, что война дает модели для ценностного выражения основных конфликтов и драматических моделей взаимодействия. Война превращается в поле образцов для ритуалов групповой и национальной солидарности, испытания, проверки людей на подлинность, как это было с фильмами Германа или Тарковского.

В таких условиях высшие социетальные или общенациональные ценности могут артикулироваться только в экстраординарной модальности: взвинченной, экзальтированной ситуации (подвига, самопожертвования, спасения, миссии, прорыва в новую реальность и отречения от обыденности, повседневности, от "нормальной жизни"). Экстраординарность – модус и условие воспроизводства данных ценностей и соответственно данного сообщества. Напротив, повседневность не просто культурно не санкционирована и идеологически не обеспечена<sup>15</sup>, но долгое время третировалась как низкое, разлагающее или даже враждебное начало ("мещанство", "обывательщина" и прочее – универсальные жупелы всех идеологических кампаний советского времени). Разумеется, от "чрезвычайщины", возведенной в социально-политический культ, было недалеко до оправдания нескончаемого массового террора.

Державная интерпретация победы 1945 года стала не просто оправданием советского режима в прошлом и на будущее. Она долгое время позволяла властям эксплуатировать свой антифашизм в качестве своеобразной антитезы западному капитализму и либерализму ("советская демократия"). Символика победы долгое время заслоняла и "искупала издержки" режима хронической мобилизацией, обосновывая необходимость громадной армии (ставшей образцом для других социально-политических институтов), возникновения и поддержания "социалистического лагеря", милитаризованной государственной экономики, неистовой гонки ракетно-ядерных вооружений под призывами к "мирному соревнованию" с Западом.

Табуированность и нерационализированность понимания и отношения к войне ведут к тому, что непобедная, негосударственная сторона войны, вся ее тяжесть, человеческий страх ушли в своего рода "подсознание" общества ("слепое пятно" его официальной памяти). Символика победы включена в конструкции державного сознания, обеспечивающие приоритет всех "государственных интересов" и массовую "готовность" пассивно перетерпеть лихолетье, актуализируя ресурсы опыта крайнего существования. Она апеллирует к возможности повторения "военных" ситуаций, локальных или глобальных, одинаково неподконтрольных частному, домашне-семейному миру, не управляемых его средствами. Таким образом, два этих общих плана войны связаны с двумя планами национального состояния: государственно-патриотического энтузиазма – мобилизации (соответственно, мотивации "готовности исполнить требования партии и правительства в качестве внутренней потребности каждого", как призывала советская пропаганда) и желания "покоя", ценности стабильного существования, а при его отсутствии – хронической коллективной астении, усталости, страха потерять относительное благополучие частной жизни. Понятно, что первому состоянию соответствует всеобщая убежденность в том, что "русские свой национальный характер и душевные качества полнее всего проявляют в периоды переломов, в годы испытаний и войн", в чрезвычайных обстоятельствах катастроф и бедствий (ситуации "подвига", "массового героизма" на фронте и в труде), а не в "спокойные и благополучные времена". Это убеждение разделяет абсолютное большинство россиян (77% опрошенных), иначе говоря, оно стало нормой символической самоидентичности.

Трезвое понимание значительным числом опрошенных (почти половиной респондентов – 45%) того обстоятельства, что война велась "числом, а не умением", что победа достигнута огромным количеством жертв и потерь среди военных и гражданского населения, что ее условием, среди прочего, являлась крайне низкая ценность простой человеческой жизни, – все это мало влияет на массовые оценки действий властей.

Представление о неизбежности массовых потерь и как бы даже "само собой разумеющейся" необходимости миллионных жертв входит в качестве составной части в общий семантический комплекс национального подвига и общего героизма. Характерно, что подобные "нормы" представлений о потерях переносятся и на войска союзников и даже немецкую армию<sup>16</sup>. Массовое сознание россиян просто не в состоянии вообразить себе войны, в которой военачальники могли бы ставить своей целью любыми средствами сохранить жизнь своих подчиненных<sup>17</sup>.

Моральная, интеллектуальная, политическая неспособность российского общества осмыслить травматические обстоятельства, связанные с развязыванием войны и способом ее ведения, безжалостностью по отношению и к мирному населению и к армии, обернулась спустя 13 лет после краха коммунизма тем, что значительная часть населения уже в путинской России постепенно стала возвращаться к официальной точке зрения на причины войны и цену победы, возрождая мифы о неизбежности войны, "внезапности" гитлеровской агрессии (удельный вес подобных ответов возрос более чем в полтора раза – с 21% до 38%) и тому подобное. В 2001 году почти половина опрошенных (47%) считала, что в конце 1930-х годов избежать войны было невозможно, не согласны с ними были 35% (материалы уже приводившегося выше опроса)<sup>18</sup>. Подобная смутность и противоречивость массового сознания для нас

здесь очень важна. Это не выражение раскола общества на "партии" с четкими позициями и ясными убеждениями, а симптоматика "нечистой совести" и какой-то непроявленной то ли вины, то ли внутренней неудовлетворенности общепринятым отношением к проблематике войны. Приведем еще два примера, раскрывающих характер этого национального "подсознания": 68% опрошенных полагают, что мы "не знаем всей правды о Великой Отечественной войне", и 58% считают, что версию о "внезапности" нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года придумали для того, чтобы "скрыть политические просчеты Сталина", которые стали причиной явной неподготовленности страны к войне. Подобные мнимые несогласованности в общественном мнении представляют собой выражение пассивности и покорности по отношению к официозу при одновременном глубоком недоверии к нему. Это означает, что в обществе нет той авторитетной в моральном или интеллектуальном, пусть даже – в социальном, плане группы или инстанции, позиция которой могла бы быть принятой большинством населения. Поэтому чем сложнее вопросы, относящиеся к пониманию войны или воспоминанию о войне, например тема ответственности руководства страны, тем путаннее и неяснее становятся реакции общественного мнения. Так, чуть больше половины россиян (52%) знают о дискуссиях вокруг секретных протоколов к пакту "Молотова–Риббентропа", предусматривающих раздел Польши, раздел сфер влияния в Европе (хотя соотношение считающих, что это фальшивка и что они были на самом деле, составляет 1:4). При этом лишь чуть больше половины из "знающих" об этих протоколах полагают, что "это соглашение развязало руки Гитлеру в его планах Второй мировой войны" (54%), в то время как остальные склонны винить в этом Великобританию и Францию, согласившихся на "мюнхенский сговор". Более того, сегодня готовы одобрить сам Пакт "Молотова–Риббентропа" даже большее число опрошенных, чем вообще знают, в чем состоит его существо (40% всех опрошенных против 23%; в данном случае действует мощная инерция старой советской версии о советско–германском договоре как вынужденном шаге Сталина, стремившегося выиграть время для подготовки страны к войне).

### Легитимационные функции войны

Война и ее жертвы сакрализовали в глазах российского общества не только армию как один из центральных, опорных социальных институтов, несущую конструкцию всего советского и постсоветского режима власти, но и сам принцип "вертикальной" конституции общества, мобилизационной, командно–иерархической модели социального порядка, не признающего автономности и самоценности частного существования, групповых интересов, не зависящих от всего "целого". Российское общество миновало период критической переоценки своего прошлого, в том числе – и военного, оставив в стороне дискуссии о "цене" победы, оценку предвоенной и послевоенной политики. Сегодня память о войне и победе включается главным образом механизмами консервации социального целого, удерживающими общество от усложнения, функциональной дифференциации. Воспоминания о войне нужны в первую очередь для легитимации централизованного и репрессивного социального порядка, они встраиваются в общий порядок посттоталитарной традиционализации культуры в обществе, не справившемся с вызовами вестернизации и модернизации, общества, не выдержавшего напряжения начавшихся социальных изменений. Российская власть поэтому вынуждена постоянно возвращаться к тем

травматическим обстоятельствам своего прошлого, которые воспроизводят ключевые моменты национальной мобилизации. Непрожитая война оборачивается рецидивами государственной агрессии – чеченской войной и реставрацией репрессивного режима.

В заключение можно сказать, что "память" о войне как о целой эпохе, годах, с которыми связано множество частных или коллективных событий, сегодня сохраняется в России только в тех или иных манифестациях государственных институтов или связанных с властью социальных групп, претендующих на общественное или политическое влияние, выступающих в качестве идеологов или исполнителей государственного заказа.

Предстоящие пышные государственные празднества 60-летия Победы не станут поводом для рационализации российским обществом своего прошлого и настоящего. Объявленная программа торжественных мероприятий превратится в череду рутинных демонстраций приверженности к символам былого величия державы, символам, теряющим свою силу и значимость. Правильнее было бы сказать, что это будет принудительная имитация коллективной солидарности с властью, не имеющей ничего за душой, кроме казенного полицейского патриотизма и политического цинизма.

- 
- 1 В основе статьи лежат материалы ежемесячных общенациональных репрезентативных опросов населения России, которые проводятся с 1991 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с 2003 года – Аналитическим центром Юрия Левады. Объем выборки, если не указано иначе, составляет 1600 человек (взрослого населения).
  - 2 В мае 2001 года на вопрос: "Знаем ли мы правду об Отечественной войне?" – 68% опрошенных ответили – "думаю, что нет" (25% – "думаю, да", и 7% затруднились сказать что-то определенное).
  - 3 Нежелание вспоминать о войне было довольно характерной реакцией фронтовиков до середины 1960-х годов. Ср. недавние воспоминания академика Александра Яковлева (последние книги, а также интервью с ним на Радио "Свобода" Владимира Тольца в передаче "Документы прошлого" от 13 февраля 2004 года). Дело не только в типичном проявлении "посттравматического синдрома", но и в отсутствии адекватных для выражения военного опыта речевых и риторических средств. Только после появления в конце 1950-х – начале 1960-х годов военной прозы (например, романов Константина Симонова и других), в том числе – и "лейтенантской прозы" (Виктора Астафьева, Григория Бакланова, Юрия Бондарева, Константина Воробьева), военных и просто батальных фильмов (начиная с "Летят журавли" и экранизации симоновской дилогии), снятия запрета на песни военного времени и их реабилитации, появления генеральских мемуаров и тому подобного начал постепенно вырабатываться соответствующий язык "фронтовых чувств".
  - 4 Их символическим выражением были советские успехи в космосе, в особенности – первый космический полет Юрия Гагарина.
  - 5 Запись автора; трансляции репортажей с митинга шли по Первому каналу и "России" почти в каждой новостной передаче 7 и 8 сентября 2004 года.
  - 6 Из телевизионного комментария Владимира Жириновского, данного им 22 февраля 2002 года после скандального обсуждения на заседании Госдумы ситуации на зимних Олимпийских играх 2002 года (запись автора). Об атмосфере вокруг этих игр см., например, NEWSRU.com от 22.02.2002 (<http://newsru.com/arch/22feb2002/index.html>), а также комментарии Ильи Мильштейна: Мильштейн И. Ура, мы ломим, гнутся янки // [www.zeka.ru/olympics/articles.ura](http://www.zeka.ru/olympics/articles.ura) (18.2.2002).
  - 7 Еще один важный момент в отношении к "Отечественной войне 1941–1945 годов": это единственная война из тех, что вели Российская империя, СССР и Россия на протяжении XX века, которая сегодня российским обществом признается как "справедливая". Согласно данным январского опроса (2005 года), соотношение мнений респондентов о справедливости и несправедливости той или иной войны выглядит следующим образом: война с Японией в 1904–1905 годах ? 0,9 (34%:36%),

Первая мировая война – 0,9; Гражданская война 1918–1922 годов ? 0,7; война с Финляндией в 1939–1940 годах ? 0,5; Афганская война (1979–1989) ? 0,2%, Первая чеченская война (1994–1996) ? 0,2; Вторая чеченская война, начавшаяся в 1999 году, ? 0,3 (19% считают ее "справедливой" и 68% – "несправедливой") и только ВОВ дает абсолютное преобладание мнений о ее справедливости ? 4,9 (79% против 16%).

- 8 Критика официальной, "лакировочной" версии войны первоначально касалась только лишь художественной трактовки войны. Наиболее резкой здесь была, конечно, критика таких фильмов, как "Падение Берлина" Михаила Чиаурели (1950), или ироническое отношение к "Сталинградской битве" Владимира Петрова (1949), "Подвигу разведчика" Бориса Барнета (1947) и прочим. Именно в противопоставлении этой версии развивалась более поздняя линия "психологического" или "реалистического" кино ("Летят журавли" Михаила Калатозова (1957), "Баллада о солдате" Григория Чухрая (1959), экранизация симоновских романов Александром Столпером ("Живые и мертвые", (1964)). Однако критика собственно военной официальной истории, поправляемой под каждого нового лидера страны, маршала обороны или даже, как пишет военный историк генерал армии Гареев, "начальника ГлавПУРа", стала возможной лишь в годы горбачевской перестройки. См.: Гареев М.А. Об изучении Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1992. № 1.
- 9 Можно в этой связи вспомнить впечатляющий успех фильмов Марлена Хуциева "Застава Ильича" ("Мне двадцать лет") и "Июльский дождь", их парадигматическую роль для интеллигентского сознания в 1960–х годах.
- 10 Особенно важными в этом ряду оказались искромсанные и многократно отредактированные "Воспоминания" Георгия Жукова (1969), которому, как впоследствии и другим мемуаристам из числа военачальников, вписывали целые страницы о роли партийных работников и тому подобном. Интересно, что даже сегодня на русских "патриотических" сайтах, где Жукова называют "символом Победы советского народа", его воспоминания квалифицируются как "неоднозначные" и "часто используемые в антисоветской пропаганде" – см., например, [www.patriotica.ru/authors/zhukov\\_.html](http://www.patriotica.ru/authors/zhukov_.html)
- 11 На вопрос (январь 2005 года): "Как бы вы отнеслись к тому, чтобы к 60–летию Победы был установлен памятник Сталину?" – ответы распределились следующим образом – 29% респондентов сказали "положительно", 37% – "отрицательно" и 28% отнеслись к этой идее безразлично.
- 12 Можно ограничиться лишь самыми недавними примерами: один из лидеров правящей "Единой России", бывший министр внутренних дел, а ныне спикер Госдумы Борис Грызлов, защищающий нынешнюю политику полицейского укрепления "вертикали власти", 21 декабря 2004 года, возложив цветы к памятнику Сталину на Красной площади, призвал пересмотреть историческую оценку Сталина, указывая на то, что "перегибы" в его деятельности не должны закрывать для нас "незаурядность" личности этого человека, который как "лидер страны многое сделал для Победы в Великой Отечественной войне", человека, "который пользовался уважением и у союзников". То, что постеснялся открыто сказать Грызлов, а именно: что России, как раньше, в самые тяжелые и трудные времена, нужен авторитарный диктатор, договорили его критики и оппоненты, обвинявшие его (как и других членов путинского правительства) в ограблении пенсионеров и ветеранов войны. Секретарь ЦК ВКП(б) Александр Куваев, назвав Сталина "выдающимся государственным деятелем", "политиком, которого сегодня не хватает России", заявил, что "сегодня Россия в плачевном состоянии", а потому ей "нужен новый Сталин" (<http://12-04.olo.ru/news/politics52445.html>).
- 13 В 1970–1972 годы вышло пять фильмов: "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". Характерно, что схема военной эпопеи выстроена именно как история победы, тоталитарного триумфа. Первые, наиболее драматические годы войны, тем более – предыстория войны или ее социальные, моральные и человеческие коллизии в этой преимущественно батальной панораме, выстроенной с точки зрения верховного командования, отсутствуют.
- 14 Среди множества образцов этого рода назову лишь "Иваново детство" Андрея Тарковского (1962), повести Константина Воробьева "Убиты под Москвой" (1963) или Василя Быкова (например, "Мертвым не больно" (1966), "Круглянский мост" (1969), "Сотников" (1970)).
- 15 Это обстоятельство меняло значимость и ценность других плоскостей существования, выразившихся в языке неколлективных, некультивируемых значений. Если "война" (как тематическое разнообразие) стала "культурой", то повседневность, частность существования создавала ей негативный противовес, практически культурно не оформленный ни в литературе, ни в искусстве (в советское



время повседневность впервые стала находить свой язык, может быть, только начиная с повестей Юрия Трифонова – "Обмен" (1969), "Предварительные итоги" (1970), "Другая жизнь" (1975)).

- 16 Сравнивая цифры потерь, которые называли респонденты в ходе различного рода опросов, с официальными данными о потерях, мы можем говорить о том, что размер людских потерь во Второй мировой войне опрошенные заметно завышали во всех случаях: советские, и так чудовищные, – в среднем на 21%, германские – вдвое, но более всего – потери США (в 30 раз).
- 17 Об этом совсем недавно еще раз говорил Александр Яковлев в упомянутом выше интервью.
- 18 На вопрос, почему миллионы солдат Красной армии оказались в плену во время Великой Отечественной войны, совершенно равное число опрошенных (по 58%, сумма ответов больше 100%, так как респондент мог назвать несколько вариантов ответа) соглашалось с тем, что это было связано с "внезапностью нападения Германией на СССР" и с "просчетами командования Красной армии". Характерно, что третьестепенными оказываются как старые, людоедские версии объяснения такого числа пленных, которые идут еще от Сталина ("из-за трусости и предательства"), так и чисто антисоветские предположения ("из-за надежд населения на то, что Гитлер принесет людям освобождение от советской власти") – и те, и другие оказываются значимыми скорее для маргинальных групп (их назвали, соответственно, 8 и 5% опрошенных). Точно так же массовое сознание не в состоянии остановиться ни на какой позиции и в отношении к вопросу, почему в первые месяцы войны Красная армия терпела сокрушительные поражения: 41% объясняет это традиционным: "Красная армия была ошеломлена внезапностью нападения", но почти столько же – 40% – тем, что "руководство Красной армии было обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов", 37% соглашается с тем, что СССР не успел подготовиться к войне, а 32% – с тем, что Красная армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска, несмотря на все хвастливые декларации конца 1930-х годов о том, что "мы будем бить врага на его территории", и тому подобное (опрос в январе 2005 года).

---

Published 2005-05-03

Original in Russian

Contribution by Neprikosnovennij Zapas (NZ)

First published in [Neprikosnovennij Zapas 40](#) (Russian version) and [Osteuropa 4-6/2005](#) (German version)

(c) Lev Gudkov/Neprikosnovennij Zapas/Osteuropa

(c) Eurozine